

Дейч А.

День нынешний и день минувший: Литературные впечатления и встречи. М.: Сов. писатель, 1969. С. 262–268.

С писателем Алексеем Михайловичем Ремизовым, ныне у нас малоизвестным, я познакомился зимой 1911 года. И притом в очень домашней обстановке. Иначе и быть не могло: трудно себе представить Ремизова выступающим пе-

262

ред публикой на эстраде или с лекцией. Один из своеобразнейших людей, каких приходилось мне встречать на долгом веку, Алексей Ремизов казался чрезвычайно замкнутым и не то, что скромным, но предельно застенчивым, не способным к произнесению каких-либо длительных речей.

Он был человеком, мучительно искавшим какой-то высшей правды в русской дореволюционной действительности. Но эта правда вырывалась из его уст или из-под пера в виде отдельных эмоциональных высказываний, восклицаний, чудаческих «пророчеств».

Да, Алексей Ремизов слыл чудаком, писателем малопонятным и очень для немногих. Вся жизнь его, исключительно тяжелая, ухабистая, вела к неуспокоенности, проходила в муках бедности, обиженности и забитости. И все, что он хотел рассказать людям, получалось у него отрывисто, не подчинено законам логического мышления, в словесных витиеватостях и терзающих недосказанностях. Ремизова бросало в разные стороны: от кроткого света лампадок перед образами, всеощных и излишеств православного подвижничества к участию в революционном движении в 90-х годах, тюремным заключениям, ссылкам – и вновь к исканию своей религии, фантастически связавшей его с древнеславянскими мифологическими корнями язычества. Он любил неповторимую поэзию северных дремучих лесов, русскую природу, живую, населенную сказочными существами, вполне реальными в его воображении. Он как-то записал в дневнике, находясь на чужбине, в эмиграции, далекие воспоминания о годах ссылки на севере:

«Однажды я ехал на пароходе пять суток, Вологда – Усть-Сысольск... дремучий лес, и я видел полный лесавок, лесные гости с бабой-ягой, заколдованный. Во мне пробудилась моя сказочная память, когда потом в “Посолони” я скажу – лес. Вспоминаю дорогу. Сколько за эти первые сутки я узнал о природе – закаты, восход, осень».

Среди певцов русской природы, таких, как впоследствии Михаил Пришвин, Ремизов был свой, особенный. Он кропотливо изучил древнерусскую словесность. Заговоры и заклинания, заплачки и присказки, потаенные сказки и поверья вошли в его поэтическую речь, волновавшую тех,

кто чуток к мифологии древней Руси и славянства. Я с детства любил этот загадочный мир бабы-яги, шустрых чертенят и

263

бородатых леших, болотных огоньков, лесных и речных русалок. Причудливые сказки Алексея Ремизова мне нравились и были понятнее, несмотря на сложность языка, чем его повести «Пруд» и «Крестовые сестры». Мы с младшим братом Яшей и школьными товарищами многое усвоили из заклинательного лексикона Ремизова. Даже наша старая нянька Ольга Ивановна, богомольная пензячка, ходившая в Иерусалим «ко святым местам», получила от нас ремизовское прозвище «Чучело-чумичело гороховая Куличена», а попросту, для краткости – Куличена.

Знакомство с Ремизовым произошло неожиданно. Меня вызвали в кабинет отца. Он сидел за хорошо мне знакомым столом из полированного красного дерева, откинувшись на спинку кресла, а по другую сторону на стуле я увидел человека с довольно странной внешностью. Лицо его было нездорово, землисто-серого цвета, очки прикрывали глаза, и только черные брови острыми мохнатыми треугольниками взбегали на лоб, окаймленный торчащими вверх волосками. Огромный лоб, задравшийся кверху кусок мясистого носа, испуганное выражение всей сутулой фигуры дополняли этот фантастический портрет. Отец познакомил нас. Невысокий человек поднялся со стула, как-то боком протянул мне руку и сказал глуховатым голосом:

– Алексей Ремизов.

Оказалось, что в санатории отца находится на излечении мать жены писателя, Серафимы Павловны Довгелло. Старуха лежала довольно долго в отдельной палате со сложным заболеванием суставного ревматизма. Серафима Павловна и дочь их, семилетняя Наташа, часто навещали больную, а Ремизов приехал на несколько дней из Петербурга.

Сперва Алексей Михайлович показался мне очень неразговорчивым и каким-то унылым. Но когда я его пригласил к себе в комнату, где он увидел развешанные по стенам автографюры Н. И. Кульбина – портреты Маяковского, Евреинова, Хлебникова, он оживился, и понемногу завязался разговор. Подробности стерлись с течением времени, но помню, что писатель много рассказывал. Он так хорошо изобразил свое детство, что я до сих пор помню, вернее, ощущаю запахи бумагопрядильной фабрики в Москве на Земляном валу, где прошли его юные годы. Мать с четырьмя детьми жила под опекой братьев, таких разных по характерам и

264

занятиям. Обиды и несправедливости, виденные Ремизовым в детстве, надолго западали в сердце, а дома учили смирению и покорности. Мучительная стихия Достоевского и его героев завладела Ремизовым с

юности. Казалось, что он сам сродни князю Мышкину, которого считал великим героем.

Примерно то, что мне говорил тогда Ремизов, впоследствии вошло в его записи. «Я почувствовал обездоленность, – писал он, – мне было с чем сравнивать: на другом конце хозяйский белый дом с душистыми комнатами, куда мы только заглядывали, а при гостях жались у стены, в прихожей комнате. Так же как в церкви перед нищими, так в фабричных спальнях и каморках мне всегда было совестно и мне хотелось поменяться: стать в ряд с нищими и подыматься с гудком на работу... Горечью дунуло в меня, и боль канула мне в сердце. Я смотрю на мир, и боль не отпускает. О таком я не слышал от моих братьев – трогала ли их обездоленность, не знаю. А во мне говорилось, как возможно, чтобы не замечать, и как, замечая, не почувствовать? Или самому утонуть в беде или повернуть жизнь по-другому. Как возможно все видеть и оставаться сложа руки? В жизнь я вошел не безразличным, не мирным. Моя душа не принимала чужой беды!»

Внутренняя борьба между примиренностью, покорностью, воспринятыми от религиозных представлений, и протестом, закипавшим в сердце, легла трагическим отзвуком на его жизненную и писательскую судьбу. Созданный им сказочный мир со всякой нечистью и небывальщиной заполнял его реальное бытие. Ремизов был фантазером, сновидцем. В обыденной жизни он тоже часто рассказывал придуманные им истории, якобы с ним случившиеся. Нередко его звали за это «вралем». Самая маска смирения и кротости, которую он носил, тоже была средством ухода от противоречий, мучивших его.

Как-то за обедом в нашей семье подали одно из любимых блюд – пышные румяные картофельные котлеты с грибным соусом. Алексей Михайлович почти с испугом отодвинул от себя соусник и сказал тоном заклинания:

– Грибки, грибки, грибки, они хотят меня отравить.

Помню, как это нас поразило и осталось в памяти всей семьи. Но я видел в Ремизове и другого человека – задорного, почти веселого, и искрящимися огоньками глаз, когда он

играл с маленькой дочерью Наташей, рисовал для нее, вырезал из бумаги чертенят и нараспев читал сочиненную им «Колыбельную»: «Усни, моя деточка... По камешкам мальчика-с-пальчика уйдем мы отсюда, уйдем навсегда...»

Серафима Павловна, жена писателя, с трогательной нежностью принимала его чудачества. Когда он был в далекой ссылке, она разделяла его горести и печали в течение шести лет. Она кочевала с ним по городам (Пенза, Вологда, Усть-Сысольск), а потом еще два года ему не разрешалось жить в столицах, и они провели их в Харькове, Киеве и Одессе, где родилась дочь Наташа в 1904 году.

Серафима Павловна была очень болезненным человеком, но воля к жизни заставляла ее заботиться о муже, дочери и матери. В Киеве она давала уроки и много работала. Казалось, она вся проникнута идеей жертвенности. Суровая прямота ее суждения сразу привлекала к ней внимание и вызывала уважение.

Когда я заходил иногда проведать мать Серафимы Павловны и заставлял в палате Ремизова, меня удивляло его трудолюбие. Он сидел за столом и работал. На больших листах он старательно писал старинным полууставом или изысканным елисаветинским почерком, опуская перышко в тушь разных цветов. Особенно тщательно выводил он заглавные буквы, разрисовывая их завитками. И когда он мне уже из Петербурга прислал несколько сказок для печати, все они были написаны от руки и в той же манере старорусской каллиграфии. К сожалению, во время войны часть моего архива, хранившегося у матери в Киеве, погибла. А там оставались эти диковинные рукописи Ремизова.

В 1910–1912 годах Алексей Ремизов выпустил восемь томов своих сочинений. Уже одно это свидетельствует о его огромной трудоспособности. В литературных кругах он почитался как мастер стиля, и недаром Горький назвал его живой «лабораторией русского языка». После Октября вышли две его пьесы «Бесовское действие» (1919) и «О Иуде, принце искаротском» (1919). Он, в свое время примыкавший к революционному движению, не понял смысла великой народной революции и вскоре (в 1921 г.) эмигрировал. Но и в Париже он живо интересовался всем, что делается в советской литературе, очень любил читать Леонова, Маршака, Пришвина, Пастернака. Десятки тетрадей его дневников, в

которых он записывал все, начиная от снов и кончая мыслями о литературе и искусстве, о жизненных и этических проблемах, сохранились после его смерти. Он умер в Париже 26 ноября 1957 года. Последние годы его жизни были особенно трагичны. Потеряв жену, он остался один, ослепший и больной.

Тоской по России пронизаны многие его произведения и записи парижского периода. Вот одна из них, особенно выразительная, посвященная Серафиме Павловне. Это надпись на книге Ремизова «Зга», подаренной жене в 1925 году:

«Нынче в начале лета я открыл замечательную улицу rue du Docteur Blanche, она между rue Raffet и трудной мне по выговору rue de l'Assomption. Я часто хожу на эту улицу rue Dr Blanche, там около № 6 тополь (пирамидальный). Ну, точь такой на станции Круты. Я стою на противоположной стороне и смотрю на этот тополь, на шевелящиеся листья и прислушиваюсь к шуму их. Тополь шумит особенно, к вышине, не в стороны:

шум идет, как по лестнице, и я, глядя и слушая, вспоминаю Круты – поминаю твою землю.

Как странно, здесь в Париже уголок той России, и мне кажется, что этот тополь упирается в небо, как тот – там в Крутах.

И я с каким-то особенным чувством чувствую твою землю. Может быть, эту единственную связь, которая еще жива у меня – связь «земельная».

Он как бы увез с собой свой сказочный мир, и в трех комнатках на парижской улице Буало, 7, были те же самодельные игрушки, раковины, морские коньки, звезды, что и на родине. Расписные деревянные звери, чертенята, вырезанные из бумаги альбомы с фантастическими рисунками составляли маленькую радость в его длительном и горьком существовании. Писательница Наталья Кодрянская, выпустившая любопытную книгу о Ремизове, красочно описала его в этом парижском русском «царстве»: «На макушке татарская тюбетейка. Маленький, тихий, приветливый, точно персонаж из детской сказки, с горбом, но не горбун от рождения...»

Алексей Михайлович необычайно застенчив, и вдруг эти его расшитые шелком тюбетейки, диковинные вязанные платки, цветные кофты, пестрые «шкурки», как он их на-

зывал. Весь этот маскарад, я думаю, был не только выражением любви к краскам, но и желанием укрыться под красочным нарядом от чужих равнодушных глаз. И еще думаю, все это не только из чудачества, а из-за природной зябкости, да чтоб понравиться детям, он их очень любил, часто затевал на улице с ними разговоры, рассказывал им сказки, радуясь с ними (если не больше, чем они) тому миру, который видеть умеют лишь дети и «посвященные».

По какому-то странному совпадению в апреле 1968 года мне случилось прожить некоторое время в Париже в том доме, на улице Буало, 7, где до конца своих дней жил Ремизов. Это невольно наводило на мысль о нем, а порой шалая фантазия звала меня подняться на второй этаж и позвонить в дверь налево от лифта, чтобы увидеть сказочный мирок чертей и игрушек, окружавших писателя. Правда, я знал, что этого ничего нет, что там живет французская семья, которой нет дела до ремизовских выдумок и затей. Но сколько пришлось мне услышать в Париже рассказов о жизни Ремизова от посетителей его квартиры, еще оставшихся в живых. Какие только гости не бывали у Ремизова: Н. Рерих, Вс. Мейерхольд, Ив. Бунин, С. Прокофьев, С. Рахманинов, Н. Евреинов, М. Цветаева...

Знавшие А. М. Ремизова лучше, чем я по мимолетным с ним встречам, говорят, что он не только любил театр, но и в жизни был актером собственного, придуманного им, театра. Может быть, это сблизило его с Вс. Мейерхольдом. Они были в дружбе еще в дореволюционные годы, Ремизов переводил для Мейерхольда пьесы, а иногда и редактировал тексты чужих

переводов. «Снег» Пшибышевского и «Фрекен Юлия» Стриндберга Мейерхольд ставил в переводах Ремизова.

По существу, язык этого писателя, его стилистика, его реставрационные попытки воскресить речь допетровской Руси – все это мало изучено нашими лингвистами и филологами. Произведения А. М. Ремизова нужно было бы теперь заново исследовать со всей научной объективностью.